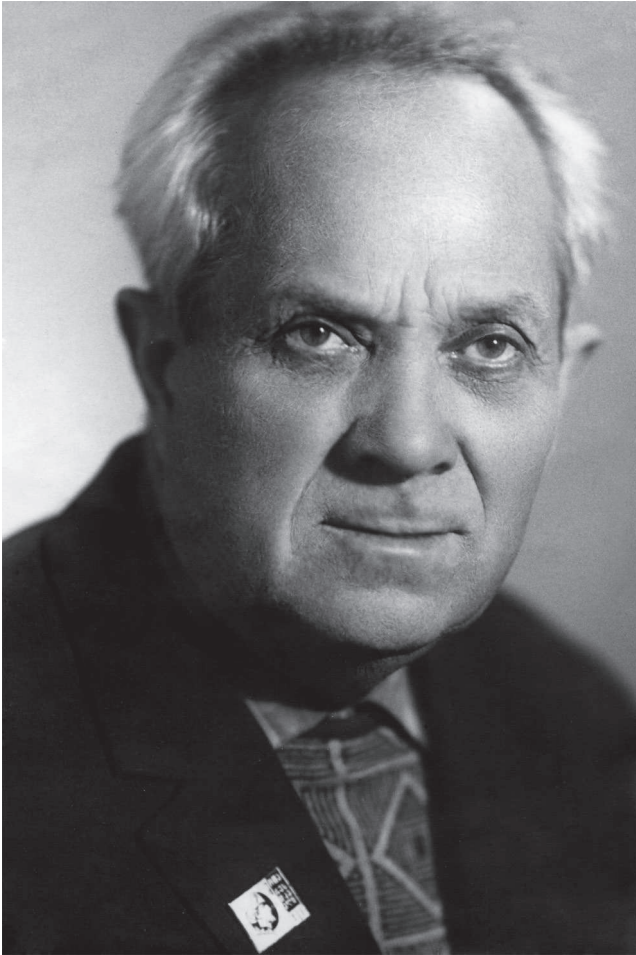




Волгоград
2017



Василий Матушкин

**Цвет
жизни**

*Избранная проза
1932–1972*

ББК
М

Составитель: В. Е. Мавродиев

Матушкин, Василий

Цвет жизни [Текст]: избранная проза / В. Матушкин. — Волгоград: Издатель, 2017. — с.

Литературоведческо-биографическая повесть Владимира Мавродиева посвящена жизни и творчеству Василия Семёновича Матушкина (1906—1988), сталинградского писателя и драматурга ещё довоенной «волны», получившего писательский билет из рук самого А. М. Горького.

Повествование ведётся в контексте ныне малоизвестной широкому читателю литературной, издательской и общественной жизни Сталинграда 1930—1950-х годов.

ББК

© Матушкин В., 2017
© Мавродиев В. Е., 2017
© ГБУК «Издатель», 2017

ПИСАТЕЛЬ С ГЛАЗАМИ СВЯЩЕННИКА

...В его архиве есть толстая папка — рукопись неоконченного автобиографического романа «По белу свету». Сюжет произведения прост: литератор на старости лет решил встретиться с реальными героями книг своей молодости, чтобы узнать, как прошла жизнь, не обманулся ли он когда-то, воспевая их лучшие качества...

В конце семидесятых Василий Семёнович, всегда считавший себя в равных долях сталинградцем и камышанином, привычно приехал в Волгоград из Рязани, где жил к тому времени уже двадцать лет. Но на этот раз не только к детям, внукам и старым друзьям-писателям, а чтобы разыскать одного из тех героев, знаменитого сталевара «Красного Октября», который в тридцатых годах устанавливал европейские и мировые рекорды по показателям плавки.

К счастью, герой был жив-здоров, и вскоре в рукописи романа появились первые страницы главы «Иван, сын Прохора». Были в той рукописи и главы о рязанской колхознице, чьё военное детство навеяло писателю сюжет известной повести «Любаша», тираж которой в своё время превысил три миллиона экземпляров. И о лётчике Борисе Ковзане, единственном в мире асе, кто остался жив после того, как четырежды таранил фашистские самолёты. О нём Матушкин написал пьесу, заключительное действие которой происходит в Волгограде...

Конечно, ныне трудновато стало писать или даже говорить что-либо о героях Руси Советской, тех же стахановцах, ударниках первых пятилеток. Ибо многие современные ёрнические СМИ (каковых, к несчастью, не убавляется) достаточно и не без успеха потрудились, разуверив людей, особенно тех, кто помоложе, что такие герои были, что их рекорды во славу Отечества — не миф, не агитпроп и т. д. Остаётся одно: брать те давние книги в руки и читать, призывая на помощь художественную правду писательского слова...

Иван Прохорович Алёшкин с начала тридцатых и до самых пятидесятых стабильно добивался вместе с товарищами по цеху уникальных производственных показателей. Ведущего сталевара-бригадира «Красного Октября» в первые послевоенные годы сталинградцы избирали де-

путатом Верховного Совета РСФСР. Уж и не знаю, с чем это можно ныне сравнить, по крайней мере, не с избранием в Государственную Думу, при всём уважении к статусу этого органа. Не ошибусь, если скажу, что он был местным Стахановым. И писали о нём в газетах после установленных рекордов очень много. Наверно, если сейчас почитать те статьи, то не шибко поверишь. Но молодой рабочий «Красного Октября» слесарь Василий Матушкин написал о нём и его бригаде рассказ ещё до всех мировых рекордов. И оставил нам неоспоримое, художественно убедительное свидетельство созидательной силы своего поколения...

В 1934-м «СТАЛОГИЗ» выпустил первую книгу рабочего-литератора «Изобретатели». Её редактором был не кто иной, как будущий автор знаменитого романа «Казачка», тридцатилетний тогда Николай Васильевич Сухов, отметивший в аннотации «непритязательный, но яркий язык» молодого автора. Вскоре у Матушкина выходит новая книга, он едет в Москву на молодёжные писательские курсы, после которых сам Алексей Максимович Горький вручает ему под лозунгом «Ударники — в литературу!» билет кандидата в члены Союза писателей СССР. Блестящее, что ни говори, начало творческой биографии. Добавим, что и Алексей Толстой, приезжая в те годы в Сталинград, хвалил его книгу об Алёшкине, о чём я ещё скажу.

В тридцать шестом выходит уже большая повесть Матушкина «Тарас Квитко» о судьбе нашего царицынского «Гавроша». И... подвергается жестокому разному со стороны одного местного троцкиста от критики... Автор лишается в краевом книжном издательстве должности ответственного секретаря журнала «Социалистическая культура», около полугода его вообще никуда не берут работать, даже грузчиком. В рискованном порыве он идёт в НКВД и кладёт на стол писательский билет: или сажайте, или дайте возможность работать. Слава Богу, что оперативник отослал его, сказав, что вызовут, когда потребуется. Поостыв, Матушкин уезжает на следующий день в Камышин, в конце концов попадает в Верхний Баскунчак, потом в Морозовскую, затем в Саломатино, что под Камышином, работая до самой войны учителем русского языка и литературы.

На войне он был командиром отделения взвода пешей разведки, пока не получил тяжёлое ранение... После войны родной Камышин, где когда-то жила их огромная семья: у отца — железнодорожного обходчика — было девять сыновей, выжили, правда, лишь семеро. Василий Семенович в первой главе незавершенного романа «По белу свету» писал: «Когда семейка наша усаживалась за стол, мать обычно пересчитывала нас:

— Алёшка раз, Сашка два, Митька три, Пашка четыре, Ванька пять, Васька шесть, Мишка семь! Слава богу, все целы...»

Так бы и сидели братцы «семеро по лавкам», собирались бы, взрослея, вместе в родном Камышине в последующие годы, да не вышло. Отроком утонул Павлик, а Александр в тридцатых пропал в Гулаге...

Но вернёмся в Камышин послевоенный. Опять учительский и журналистский хлеб, и горькое чувство при воспоминании о брошенном на

чекистский стол писательском билете. Но времена были такие, что не торопился Матушкин начинать восстанавливаться в Союзе писателей... И неизвестно, как бы дальше сложилась судьба, если бы не встретил в пятидесятом году в Москве Михаила Луконина, который когда-то ходил к нему в литкружок тракторного завода. Известный земляк-поэт, лауреат Сталинской премии и один из руководителей Союза писателей СССР, помог ему вместе с Алексеем Сурковым восстановить и доброе имя, и писательский билет..

В пятидесятые годы вышло несколько книг его рассказов, он работал собкором «Учительской газеты», «Сталинградской правды». Уж чего-чего, а прототипов для своих произведений ему хватало. Но снова испытание: внезапная болезнь, сильнейшая астма, советы врачей срочно сменить климат... Так в пятьдесят восьмом он с двумя дочерьми оказался в Рязани.

Снова дороги, книги, пьесы и... постоянная тоска по Сталинграду да Камышину... Уж, казалось бы, всего ему хватало в Рязани и в недалёкой от неё Москве. И книга самая знаменитая его была написана здесь (будучи составителем сборника десяти лучших, по его мнению, повестей о Великой Отечественной войне, Виктор Астафьев включил «Любашу» в сборник «Дорога в отчий дом», вышедший в честь 25-летия Победы в Пермском книжном издательстве). И в суперпопулярной и сверхдоступной для народа «Роман-газете» издавали, пьесы хорошо шли в нескольких театрах, художественный фильм по повести сняли, на шести иностранных языках прозу его перевели... И даже с самим Солженицыным, мягко говоря, «общался», сначала принимая, а потом исключая того из нашего идеологически строгого тогда Союза писателей, исполняя обязанности ответственного секретаря Рязанской писательской организации. Покуда всамделишный секретарь по такому историческому поводу «косил» в больнице — аппендицит..

Кстати, в конце девяностых, в дни своего восьмидесятилетия Солженицын обмолвился в телепередаче, что не держит на тех «пятерых рязанских мужиков» зла... А чего ж держать-то? Не по-христиански это... Ежели из сегодняшнего дня глянуть, то, не ведая того, открыли сорок лет назад «мужики» добравшемуся со временем и в нужный час до так и не обустроенной России (к тому ж обосновавшемуся на щедро реконструированной советско-партийной даче...) «патриарху совести» и присудителю премий собственного имени широкие двери к общечеловеческой славе и к спокойному, более чем достойно оплачиваемому творчеству..

Одним словом, всего хватало Василию Семёновичу, даже завидных орденов (Красного Знамени и Октябрьской Революции). Ан нет. Каждый год по несколько раз приезжал он в Волгоград, с обязательным заездом в Камышин. Вроде только дочерей да внуков проведать, а сам всё ждал, что однажды предложат ему братья-писатели переехать на родные берега. Собирались, не особо торопясь, предложить, а уж годы его за восемьдесят перевалили... Скончался он в Рязани в конце декабря восемьдесят восьмого года и похоронен на почётном погостовом месте — рядом со Скорбященской церковью православной...

В феврале 2016 года исполнилось 110 лет со дня рождения одного из основателей Сталинградской писательской организации (в составе учреждённого в 1934-м Союза писателей СССР) Василия Семёновича Матушкина. Немало уже прожили на белом свете и книги рязанского сталинградца — писателя, прадеда моих внуков, который, как нередко казалось мне, глядел на мир глазами священника, какого-нибудь работающего деревенского батюшки, встающего каждый день с солнышком к своей извечной, посланной Свыше службе и добрым деяниям...

Вышесказанное — это, конечно, только верхушка «айсберга» его жизни. Есть и «подводная часть», но надо сказать, она тоже светлая... Если иметь в виду не жизненные обстоятельства, не прожитый трудный век и посланный крест судьбы, а отношение этого человека к жизни, людям, семье, долгу, убеждениям, писательскому слову. И я попробую рассказать об этом — в меру знаний, почерпнутых в течение двадцати пяти лет из постоянного общения с ним. Да и после кончины Василия Семёновича я не раз просматривал его архив.

... Кроме оставшегося незаконченным романа было в его задумках ещё одно повествование, которое он называл «Сладкая жизнь». С грустной улыбкой называл. Ибо мыслилось оно о давнем детстве — камышинском, привокзальном, арбузном... Крепкий деревянный дом отца, дорожного обходчика Семёна Ивановича, стоял неподалёку от местного вокзала, и крепкая ватага братьев Матушкиных — Лёши, Мити, Саши, Вани, Васи и Миши — начиная со знойно-тягучего, пыльного и пёстрого августа, днями пропадала «на путях», подрабатывая на выгрузке-загрузке арбузов и дынь, среди полосато-зелёного и жёлтого половодья. А если не подрабатывала, то просто кормилась, особенно в не слишком-то сытые годы Первой мировой, а потом и Гражданской: треснувших или вовсе разбитых арбузов-дынь было хоть отбавляй, ешь, как говорится, от пуза. Одним словом — сладкая да липкая житуха, вся в мухах да осах ...

Мать дружной и смекалистой пацанвы, Евдокия Степановна, буквально разрывалась меж двух огней. Одной заботой был, понятно, постоянный пригляд за сыновьями, их кормёжкой и одежкой («Портным не кланялась, сама всех обшивала») и, конечно же, стремление воспитать их здоровыми, работающими и грамотными. А вторым, да частенько и первым «фронтом» являлся нескончаемый молочный конвейер...

«Представляешь, — рассказывал мне уже семидесятилетний тесть, — коровёнка наша была с виду небольшой, аккуратной такой, я бы сказал, что по-коровьи изящной даже. И вымя-то не сильно вроде заметное. А давала почти три ведра молока в день, а то и все три. Точно три, поверь. Уж не помню, где её мать раздобыла, но говорила, что Марта наша — чуть ли не голландской породы. Жили когда-то на Саратовщине князя Голицыны, много диковинного скота в их имениях держали-разводили, от того стада и наша коровёнка дошла. Вот представь, сколько она добра приносила. Но и забот, колготы... Одна корова — а цех целый... Сепаратор у нас был немецкий, крепкий, широкий такой, сидит на столе, как царь на троне, поблескивает... А надёжный, тут и говорить нечего, сносу

ему не было, золото, а не сепаратор. С него у меня и началась тяга к технике...

...В переработке мать больше нажимала на масло, одно время чуть ли не кадки малые с маслом в подполе стояли, в основном с топлёным. Ну, мы, конечно, пили-ели... Молочко светло-жёлтое, сметана аж коричневая... Но много и на продажу оставалось, особенно масла. В Камышине мать почти не торговала, а отправлялась повыше, в Саратов, но в основном в саму Москву ездила, зимой обычно... Бывало, что недели по две её не было. А уж приедет с гостинцами, весь дом ходуном. Кому штаны, кому шапка, кому ботинки. И всем — книжки, карандаши да леденцы... Отец с темна до темна на работе, на дороге, в мастерских, а то и в командировках или подменяет кого-то из обходчиков на неблизких перегонах... Мать уедет — за хозяйством кто-нибудь из близких женщин или соседок приглядывает, а в доме за старшего Лёша оставался, его и Лёней частенько звали. Он сызмальства был организованный такой, учился на отлично в гимназии, мать с отцом думали, что он, получив образование, и нас в люди тянуть будет. А тут революция, смута серая, война... Я начальную школу еле кончил... Как белые пришли в Камышин, в июле-августе девятнадцатого, почти месяц стояли, так и кончилась учёба наша... Миша, правда, потом сумел выучиться на военного, он самый младший из нас, в девятнадцатом ему четыре годика всего было...»

Обычно, дойдя до этого момента, Василий Семёнович умолкал или, с минуту помолчав, переводил разговор на другое. В смысле на другие годы. Например, рассказывал, как во время нэпа выучился на часового мастера. Или как впервые заявился на «американскую» стройку — тракторный завод в Сталинграде возводить. Но об этом чуть позже.

Только через много лет, уже после смерти писателя, я узнал, почему он не любил вспоминать свои школьные годы. Вернее — почему ему было тяжело даже думать о них...

Теперь вот предполагаю, что случись ему начать с пером в руке вспоминать, переключившись на бумагу «Сладкую жизнь», то начал бы он, может, и впрямь с арбузов вокзальных, но не смог бы не написать и о Базарной камышинской площади, где в августе девятнадцатого денкиницы установили несколько виселиц и куда сгоняли местных жителей в один из знойно-потемневших дней... Попробую написать, как бы от него, пару нелёгких абзацев...

...Вася выглянул в окно, увидел там неохотно идущих в сторону базара людей, подгоняемых беляками на конях... Мать, узнав от соседей про казнь, не сводила с сына глаз. «Не ходи туда, Васятка, не ходи... Учительшу твою... туда... Не ходи, сынок...» Он забился в дальний чулан, уткнулся в какую-то овчину... Но потом выбежал в комнату и — мимо всплеснувшей руками матери — кинулся в дверь, на улицу, мотанул калитку, побежал к базару...

По пути попался одноклассник Петька Мальцев, испуганный, какой-то враз похуевший... «Повели... Татьяну Тихоновну повели... Под конвоем, в платье школьном, чёрном... Токо без воротника белого...» Вася остановился, словно сжался в комок, задрожал головой и побежал, не

замечая слёз, обратно, домой, в чулан... Перед глазами стояла любимая учительница в строгом тёмном платье и светлом, как два крылышка, воротнике...

В третьем классе он стал сочинять стихи и маленькие рассказы, которые называл «Истории». И однажды показал их учительнице своей, самому известному в Камышине педагогу Татьяне Тихоновне Торгашовой. А потом много раз они оставались после уроков и учительница говорила ему о Пушкине и Некрасове, о Льве Толстом, Короленко, Горьком... А однажды попросила разрешения у юного автора зачитать его сочинения перед всем классом. После революции Татьяну Тихоновну назначили комиссаром народного просвещения города, но она не переставала преподавать, приходила в школу, следила, чтобы никто из ребят в трудные и голодные времена не бросал учиться. О том, что Вася Матушкин был по-детски влюблён в своего преподавателя словесности, знали все, но никто не смеялся над ним, даже мальчишки не подтрунивали, уважая его не только за «писательство», но и за отзывчивость, добрый нрав...

Перед казнью избитая и с виду обессилевшая подвижница детского просвещения стала неожиданно кидать в глаза палачам сильные и гневные слова. Тогда славные воины Антона Ивановича Деникина стали бить её чем попадая, спешно-трусливо захлестнули верёвкой и кинули бездыханную женщину в овраг у Камышинки... Лишь через несколько дней земляки пробрались туда и захоронили учительницу в братской могиле. Ныне над ней высится обелиск на площади, которую, как и в Царицыне, назвали когда-то площадью Павших Борцов...

Всё это — не плод каких-то моих додумок. Хотя, повторюсь, мне лично Василий Семенович почему-то в течение многих лет не торопился говорить об этом, стеснялся, что ли... Может, хотел обратить те тяжкие биографические страницы в художественную форму и, как младшему собрату-писателю, дать однажды прочитать. А вот хранителю фондов Камышинского краеведческого музея Татьяне Пластун, приехав в родной город за год до своей смерти, рассказал — неспешно, подробно, словно давние бумаги перебирая... Так ведь часто бывает. И самым близким иногда не поведаешь то, что расскажешь малознакомому человеку где-нибудь в вагонном купе или на скамейке в парке...

...В самом конце двадцатых Василий Матушкин приезжает из почти безработного Камышина в индустриально возрастающий Сталинград и устраивается разнорабочим на строительство тракторного завода. Но в начале июня тридцать первого переходит на «Красный Октябрь», получает рабочую карточку за номером 2157. Решение это было, видимо, связано с тем, что тракторный к тому времени пустили, энтузиазм в стиле «Даёшь!» несколько ослаб, и двадцатипятилетний рабочий, до того времени больше года вкалывавший где попало, вплоть до землекопства, всерьёз озаботился приобретением более желанного ремесла. Сказывалась тяга к точной механике, к более квалифицированной работе. Была ещё одна причина, о которой я скажу чуть ниже. Конечно, добрую профессию и на тракторном приобрести можно было, но он, повторяю, маханул

на соседний, бывший «французский», завод, ставший советским металлургическим гигантом. Тем паче что в рабочих общежитиях там было попросторнее.

Не последнюю роль в том решении сыграло и то, что в родном Камышине его писем ждала двадцатилетняя Нина Ермакова... А тут ещё девушку любимую после окончания в апреле тридцатого камышинской «школы для взрослых повышенного типа» послали, ввиду местной безработицы, в Красный Яр «производителем землеустроительных работ по подготовке территории машинно-тракторной станции». И, очень даже для тех времён грамотную, назначили десятиницей. Плюс «ликвидатором». Что это такое? А активист всесоюзного движения по ликвидации неграмотности. Как писала она Василию, вручили ей бригаду из восьми местных парней, чтоб днём с ними земли ровнять-мерить, а вечером читать-писать учить...

Грамотёшка — дело нужное, но тут и другим озаботишься. И прежде всего тем, как бы побыстрее перетянуть Нину от тех малограмотных, но наверняка справных да весёлых парней в Сталинград и жениться на ней... К тому ж на «Красном», как он узнал, молодожёнам давали отдельные комнаты в общежитии. Думал недолго, и вскоре в Красный Яр полетела весточка, что он принят учеником слесаря и направлен «на мартен 2-го района Электроотдела». А через месяц написал невесте, что уже работает самостоятельно, зарплата сносная, а живёт вообще «по-царски»: всего-то два соседа в комнате. И вдобавок учится по вечерам на курсах Нижне-Волжского отделения Акционерного общества «Установка», что поможет укрепить профессию и вообще положение на заводе. Всё вроде складывалось удачно, но...

Тут я очень деликатно коснусь одной темы. На этот раз религиозной. Мать Василия была крещена, понятно, в православие, но в трудные революционные и послереволюционные годы стала тяготеть к баптистской общине. Подростком Василий бывал с матерью на собраниях той общины. Привлекала его не то чтобы чисто религиозная часть тех собраний, а в первую голову то, что люди в трудные времена жили этакой неофициальной малой коммуной, конкретно помогали друг другу продуктами, вещами, в ремонте и строительстве жилищ, в болезнях ... Такой вот «прикладной» и, по сути, христианский приход был ему по душе. Да ещё и мало применяемые на практике, но теоретически весьма гуманные постулаты, навряд ли того, что нельзя под любым предлогом убивать людей и даже брать в руки оружие. Романтически-светлая душа будущего писателя воспринимала это охотно. Хотя как это в Советской стране, которой постоянно грозят враги, не брать в руки оружие? Но Гражданская кончилась, а до Великой Отечественной и предшествующих ей военных конфликтов было ещё далеко. Поэтому на протяжении нескольких лет Василий не то чтобы считался «сектантом», а просто с любопытством начинающего писателя и простодушным доверием относился к замкнутым в своём братском и сестринском мире камышинским баптистам.

Позже то увлечение постепенно прошло, и в Сталинград он явился уже практически атеистом, сохраняя, правда, свой взгляд, своё мнение

о той, как ныне говорят, конфессии. Кстати, в послевоенные советские времена властями вовсе не запрещаемой и никакой «сектой» не считавшейся. Выходил до самого конца восьмидесятых даже вполне легальный «толстый» журнал советских евангелистов-баптистов. Но в начале индустриально бурных тридцатых благообразные откольники-отшельники были вне закона. А с середины тех тридцатых их агитаторов уже начали загонять в Гулаг..

Вот Матушкин однажды, ещё в пору работы на тракторном, затеял спор на религиозную тему со своими товарищами, стал объяснять им, что баптисты проповедуют добро, что их заповеди, в общем-то, близки духовным посылам коммунистического уклада. О такой крамоле, понятно, доброты быстро «стукнули» куда надо, попал Матушкин в чёрные списки ОГПУ, где его недолго думая определили аж в «проповедники» баптизма. С завода не выгнали, но начали тягать в «органы», в партком, в городской совет воинствующих безбожников, грозить да воспитывать.

Те времена были полны всякими «перековками», и, слава Богу, Матушкина, перешедшего от греха с тракторного на «Красный» ещё и по причине воспитательного преследования, тоже довольно оперативно «перековали». Тем более что трудился он хорошо, даже очень хорошо, да ещё и писал в газеты, воспевал освобождённый труд. А когда в середине тридцать второго ему вручили официальный городской билет ударника за номером 5498, то реабилитация была полной.

Но свадьба по причине этих «перековок», понятно, откладывалась. К счастью, ненадолго: на ноябрьские праздники того же года, получив в Камышине благословение родителей, Нина приехала в Сталинград к жениху-ударнику, а 22 декабря в Краснооктябрьском загсе молодые наконец расписались. Пожив недолго в общаге, они сняли комнату в «рабочем посёлке имени Рыкова», который по старинке называли (и до сих пор ещё называют) Малой Францией, а позже там же заимели и казённое жильё. Добавлю, что новый тридцать третий год, трудный и голодный для Поволжья, они встретили в родном Камышине, где и сыграли скромную свадьбу. Вот такая история в полном духе того времени.

...За два дня до женитьбы Василий получил очень важное для себя письмо из краевого комитета ВКП(б). Здесь нужно объяснить современному читателю, что, в отличие от нынешних «личных» и общественно «пофигейских» времён, в те далёкие тридцатые литературное ремесло считалось важнейшим подспорьем в государственном строительстве, в том числе и строительстве нового человека, в партийно-воспитательной, агитационной работе. И литераторы, даже начинающие, опубликовавшие всего несколько рассказов или стихотворений, были, что говорится, на поимённом учёте. А слесарь Матушкин в том тридцать втором написал целую повесть «Барабан», героями которой стали, понятно, работяги, с которыми он не просто встречался, а трудился каждый день и жил вместе. И, конечно, он желал поскорее её напечатать. Сделать, может, и молодой жене такой вот утверждающий серьёзность его литературных начинаний подарок...

Все наиболее значимые рукописи будущих книг «согласовывались» тогда с соответствующим отделом крайкома партии. И это не было примитивной цензурой по типу «пускать — не пускать». Работники таких отделов внимательно и даже с «жаром» брались помогать молодым авторам. Тем более что в апреле тридцать второго вышло постановление ЦК партии о перестройке литературно-художественных организаций, в связи с чем намечалось заметно усилить издательское дело на местах, в том числе и периодическое. В частности, в нашем городе на будущий тридцать третий год намечался выход нового литературного журнала «Сталинград». И работник крайкома, а заодно и литератор Виктор Буторин, пославший письмо Матушкину, наверняка курировал организацию того журнала, ежедневно «и по службе, и по душе» (В. Маяковский) приглядывал и за маститыми авторами, и за молодняком, охотно входил в их положение и проблемы. Приведу, сохраняя авторский стиль, выдержки из того искренне делового письма, ибо оно хорошо иллюстрирует и то, что я вкратце обрисовал выше, и вообще вживе передаёт черты той эпохи, звавшей людей к творческому постижению коммуной идеи.

Дорогой тов. Матушкин! Выслушайте меня. Я прочитал Вашу повесть «Барабан» и хочу предупредить Вас, что Вы даровитый, талантливый писатель. Это самое главное, что Вы должны запомнить. И если кто-нибудь, когда-нибудь будет Вас уверять в противном, — не верьте. Но это не значит, конечно, что Вы уже сейчас пишете совсем хорошо. Нет, Вам предстоит ещё много поработать. Запомните, что писательство — это прежде всего труд, тяжелый труд. В произведении художника не должно быть ни одного лишнего слова, каждое слово должно убеждать, действовать на читателя. Кроме того, писатель должен быть не только грамотным человеком, но совершенно грамотным. А судя по Вашей повести Вы должны основное внимание уделить общему и политическому образованию, не переставая писать, ещё больше времени уделять тщательной работе над своими произведениями.

Теперь о «Барабане». Я его немного подредактирую, выправлю, и мы его пустим в печать. Вы прекрасно справляетесь с задачей показа человеческих переживаний, у Вас исключительно хороши зарисовки природы, по повести разбросано много живых, ярких образных выражений, но Вы не сумели показать людей так, чтобы один из них сильно отличался от другого (своим нутром). Ведь дело не только во внешности. Кроме того, все рабочие, выведенные Вами, выглядят «худыми», «тощими», а мастера, администрация «жирными» и «толстыми». Почему это? Подумайте. У Вас многовато техницизма, он загромождает повесть. Так что надо его изрядно сократить.

Итак — пишите, пишите и пишите. И учитесь. Читайте, не отставайте от жизни. Вам надо быть впереди. Вы писатель — с Вас много спросится. Вы писатель пролетарский и должны писать в интересах класса, который Вас воспитал, которому Вы служите. А потому ближе, вплотную к нашей партии. Она авангард класса. Крепко, крепко жму руку.

В. Буторин. 20 X11 32 г. г. Сталинград.

В мае тридцать третьего «Сталинград» вышел трёхтысячным тиражом, и на страницах первого номера соседствовали повесть Василия Матушкина «Барабан» и рассказ Виктора Буторина «Подпольная типография»...

К сожалению, в дальнейшем имя искреннего и доброжелательного рецензента затерялось в обширном и тревожном потоке сталинградской литературы тех лет. Может, и не сам он затерялся или уехал куда-то из края, а «затеряли» его... Времена наступали крутые. Весной тридцать пятого новый партийный глава края Иосиф Варейкис приехал из Воронежа со своей «командой» с весьма определёнными задачами: что-то исправлять, поднимать, чистить... Забегая вперёд скажу, что неистовый и интеллигентный Варейкис дочистился до собственного расстрела, а вслед ему, до лета тридцать восьмого, «как бешеные собаки» лишились жизни ещё двое его коллег по высшей сталинградской партийной должности... Но я о другом, о своём предположении в отношении судьбы сердобольного партийного литератора Буторина.

Даже в письме к Матушкину проступает некоторая, малозаметная на посторонний взгляд, раздвоенность позиции рецензента, может быть, не совсем понятная в те времена даже ему самому. Ведь начиная с тридцатых годов русская советская литература проводила этакую собственную «индустриализацию» и «коллективизацию». Она резко, практически в приказном порядке, переходила от человековедения к обществоведению, то есть во главу угла ставилось не просто поведение человека, а общественное поведение, отношение к своему «отряду», брошенному на передовую строительства социализма.

По верховной «инструкции» главные, становые герои литературных произведений прежде всего должны были демонстрировать свою убеждённость в правоте общенародной идеи, быть почти беспощадными к «отшельникам», к индивидуумам с явным или тайно сдерживаемым «буржуйским душком». Скажу так: если, допустим, какой-то рабочий и смекалист, и работающ, то это ещё не повод считать его «своим» для советской власти. Он обязан быть ещё и составной частью общего «тела» коллектива. А уж партия ведёт коллективы куда надо. Тут не до раздумий, тут все должны быть на одно лицо. Такое время, гражданская солдатчина, огромнейшая задача по разительному, неправдоподобному для «нормального» ума (особенно иностранного) преобразению страны за несколько лет, оставшихся до сорок первого... Таков не перелом даже, а крутейший поворот, всесильная воронка времени, над которым после

того тридцать третьего нависла неизбежность вселенского столкновения Света и тьмы...

Немыслимая по срокам индустриализация шестой части Земли, истинный, а также весьма умно разжигаемый партагитпропом энтузиазм строящего социализма класса были, в главную очередь, ещё и возведением баррикады, рва, щита против фашизма, который с «дьявольским поспешением» начинал раскидывать свои щупальца по мягкотелой старухе-Европе, раздуваться от финансовой и промышленной крови, готовя очередной бросок на славянский мир. На земли и сокровища Святой Руси, принявшей защитный образ Советской России, общинно-многонационального Союза...

Конечно, литературный процесс, язык и сюжеты произведений изменились не в момент, этого наверху никто по-маниловски не планировал. Но беспрекословные, я бы сказал, ориентиры были выставлены по-армейски чётко и оправданно безоговорочно (оправданно, если иметь в виду жизнь или смерть Отечества). Внешне страна, вроде бы трудно и напористо, под «Не спи, вставай, кудрявая!..» шла к невиданной доселе цели, что и вмнялось воспевать писателям. Но пружина внутреннего управления государством сжималась и разжималась в сложнейшем, экстремальном режиме.

Экстремальность та, понятно, «секретилась», её часто и не без основания «маскировали» трудовым подъёмом, действительно желанной массовой тягой к знаниям, профобучению, рационализаторству. И агитировали за это всеми средствами, особенно кинофильмами и книгами. Далеко не случайно у того же Матушкина первая книжка называлась «Изобретатели», хотя рассказа или повести под таким заголовком в сборнике не было. Позже выходила ещё одна небольшая книга — «Приключение Кости-изобретателя». Даже чисто внешне, обложечно, книги должны были агитировать за массово-творческий труд.

Рецензент Буторин тоже вроде бы честно ратует за всеобщность освобождённого труда и идейную монолитность класса. Но, с одной стороны, как ему старомодно хочется, чтобы автор не скатывался к примитивности, к чёткому разделению на «тощих» и «жирных», а с другой — ему претит «одинаковость» людей. А как счастлив он видеть в произведении молодого автора картины природы, поэтичность и образность. Боюсь, что с таким «отсталым» багажом Буторин быстро исчез из наливавшихся новой кровью-силой партотделов... Ниже я ещё вернусь к этим размышлениям, цитируя другое письмо Матушкину, отправленное из критического отдела столичного журнала «Октябрь» в сентябре уже тридцать седьмого года...

Но до ставшего горьким и для Василия Матушкина тридцать седьмого у нас ещё есть пара лет, в течение которых случились многие знаковые события в жизни сначала формально «перекованного», а потом и по-настоящему выкованного в заводской среде молодого писателя.

...Включённая в сборник «Изобретатели» повесть, а вернее всё-таки рассказ, об Иване Алёшкине, молодом сталинградском сталеваре, объ-

явленном мировым рекордсменом по плавке, которому сам нарком Орджоникидзе подарил от имени Тяжпрома аж легковой автомобиль, действительно получила известность. Отзывы о ней, вопреки скупому на похвалы времени, начиная с первой журнальной публикации, были и впрямь чуть ли не хвалебными. Критик Ф. Раевский писал в седьмом номере журнала «Сталинград» за 1933 год: «Писатель обещает статью крупным мастером художественного слова... Любовь рабочего класса к производству передана просто, но сильно». С такими оптимистическими напутствиями, как я говорил выше, Матушкина посылают на курсы в Москву, где он получает из рук Горького писательский билет. Сим достоверным фактом Василий Семенович лет тридцать пять ни в коей мере не козырял. А на мои предложения рассказать о том поподробнее с улыбкой-вздохом отвечал так: «Да, вручил... Мне и ещё нескольким ребятам... Кандидатские билеты... Потом я ещё разок к нему как-то сумел протиснуться... Даже руку пожал...»

Вполне вероятно, что великий писатель в порядке подготовки к встрече с молодыми рабочими, авторами-ударниками, держал в руках книжку Матушкина, может, и листал её, входя в общий «курс дела». А вот Алексей Толстой рассказ «Сталевар Алешкин» читал точно, о чём сказал наверняка огорошенному этим известием автору летом тридцать шестого, когда приезжал, вернее, приплывал на пароходе «Урицкий» в Сталинград для творческих встреч, а заодно и сбора дополнительных материалов в ходе работы над не сильно удавшимся романом «Хлеб». Об этом в своей книге «Символ веры» поведал Борис Дьяков, начинавший писательский путь в довоенном Сталинграде. Вот кусочек из неё.

«...Началась церемония знакомства. Алексей Николаевич спрашивал каждого литератора, что тот написал, что пишет, что замышляет писать. А Василию Матушкину сказал:

— Читал вашу повесть о сталеваре Алёшкине. Интереснейшая книга. Пишите, пишите о рабочих людях, Василий Семёнович! Неисчерпаемый родник характеров и фактов!

— Я сам рабочий. О ком же мне ещё писать! — сказал Матушкин».

Последнюю, несколько напыщенную фразу Дьяков ввернул наверняка от себя. Ибо к тому моменту Матушкин на заводе не работал уже больше года, а по тем временам это был огромный срок. Да и не стал бы он так вот «блистать» перед классиком. Допускаю, что он скорее покраснел от неожиданности...

Тем летом Матушкин уже трудился ответственным секретарём небольшого и недолго, в духе того времени, просуществовавшего крайиздатовского журнала «Социалистическая культура». Это издание было наверняка чисто теоретическим, художественные вещи в нём не печата-

ли. И свою новую повесть «Тарас Квитко» тридцатилетний автор предложил сначала в «свой» журнал «Сталинград», а потом в новый альманах «Литературный Сталинград», созданный на базе выходившего ранее краевого «Литературного Поволжья». Но в этих изданиях повесть не появилась по причине того, что довольно быстро была издана отдельной книгой, даже в твёрдой обложке.

Писавший до того времени основные свои вещи только о заводе и его людях, Матушкин в «Тарасе» сделал небезуспешную попытку выйти за очерченный круг и поведать о судьбе царицынского подростка уже на бытовом, уличном, скажем так, фоне. Фон тот включал и малознакомый для автора уголовный мир, и даже атеистический... Несмотря на укреплявшийся самобытный язык, повесть всё же вышла сыроватой и в сюжетно-персонажном отношении выглядела, как уже в семидесятых годах говорил мне сам Василий Семёнович, «комом». Правда, задним числом, уже в послевоенные годы, он переделывать её не хотел. Лишь в восьмидесятых у него возникла мысль включить слегка поправленную повесть в юбилейный однотомник, но неожиданно пропал единственный экземпляр той книги, писатель оставил его где-то в вагоне во время своих не прекращавшихся до самой его кончины поездок...

Я уже говорил выше, что в тридцатых годах появление в Сталинграде (за всю страну не буду говорить) нового произведения писателя являлось не просто событием, но и обязательным поводом для публичного обсуждения или, как в те времена говаривали, «дискуссии». Причём с обязательным опубликованием «резюме» после всех разборов. К тому же Матушкин после «Изобретателей» выпустил в течение двух лет очерковую книжку «Колхоз «Большевик», сборник рассказов «Хладнокровный человек», вышла также в его переводе книга рассказов писателей Калмыкии, входившей тогда в Нижне-Волжский край. С калмыками, кстати, творчески сотрудничал и ответственный секретарь, начиная с тридцать пятого года, Сталинградского отделения рождённого в 1934-м Союза писателей СССР Григорий Смольяков. В общем, Матушкин считался уже не начинающим и не «молодым» автором, тем паче с писательским билетом в кармане. Оттого-то его новая вещь в момент попала в жернова тех самых дискуссий.

Повесть «Тарас Квитко» явилась для Матушкина переломной во всех отношениях, вплоть до житейских... Если кратко говорить о художественной составляющей, то автор, продолжая делать упор на индивидуальность, особинку и образность языка произведения, одновременно взялся «воспитывать» юного героя по, в общем-то, непререкаемым для того времени шаблонам. Но язык всё ещё пересиливал, «скрашивал» и заслонял «лобовую» идеологию. Нет, Матушкин не конъюнктурил. Просто он, к тому времени вместе с молодой женой учившийся на третьем курсе вечернего факультета городского учительского института, невольно, а затем и вполне осознанно и охотно стал растить в себе педагога. И, надо сказать, успешно вырастил не только в профессиональном, но и, я бы сказал, в духовном, даже проповедническом смысле. Что буквально через год он как ему пригodiлось в сельской железнодорожной школе...

Герой повести несуразный Тарас — исключенный из училища за хулиганство, лишившийся во время расстрела мирной демонстрации отца-рабочего, оставшийся со смертельно больной матерью, — попадает в тёмную воровскую среду, а затем и в тюрьму. Но новые люди, борцы за права рабочих и счастье простого народа помогают подростку встать на нужную дорогу, выйти в день Февральской революции из царицынского училища с твердым желанием примкнуть к большевикам. Вот, собственно, идеологическая «арматура» повести. И никуда уже в тридцать шестом году автор от той арматуры не мог, да и не желал деться.

К тому же Матушкин стремился, повторяю, соединить неизбежную назидательность и сюжетный схематизм с хорошим языком. Желал нагружать образностью, эпитетами, красками почти каждое предложение, начиная с самого первого: «Каменская улица, по которой идёт Тарас с родителями, похожа на длинный пересохший овраг»...

О языке его первых повестей и рассказов можно говорить много, ныне просто дивясь — как его довоенные произведения отличаются по языку от послевоенных, вплоть до середины шестидесятых. На то были свои причины, о которых я ещё скажу, а пока просто несколько цитат их разных книг.

Обермейстер электрической мастерской Фёдор Алексеев усадил свою плотную фигуру за стол, и пожилой стул сердито заскрипел под тяжестью.

«Пожилой» стул. Просто «под тяжестью». А не, допустим, под его тяжестью или тяжестью тела.

Это начало «Барабана». Помнится, прочитав, я сразу «заподозрил» здесь влияние Андрея Платонова. И не ошибся. Матушкин, по собственному признанию, в тридцатых годах и даже раньше находился не то чтобы под магией языка, а под обаянием биографии этого писателя. Книги Платонова «Река Потудань» и «Сокровенный человек», а также некоторые рассказы и публицистические статьи в журналах он прочитал в молодости с особенным интересом ещё и потому, что Платонов по рабочей профессии был землеустроителем и вдобавок великолепно знал железнодорожное дело — родное с детских лет и для Матушкина. «Представляешь, — восхищённо говорил он мне, — Платонов участвовал в строительстве восьмисот небольших плотин и трёх крупных по тем временам сельских электростанций! А ещё занимался вместе с соратницей-женой осушением и орошением земель, прилично знал электродело. «Ремонт земли» — это не просто заголовок статьи, это суть его воззрений на новый мир и всю революцию».

Колючий ветер, разведчик зимы, явился в посёлке, пробежал по улицам, осмотрелся и с доносом умчался обратно. В зорях стеклись лужи, в парках лысели деревья. Их жёлтые кудри валялись на землю.

Это уже кусок из вроде бы чисто производственного рассказа «Коммутатор», написанного в тридцать втором году. А начинается-то он как! Ремонтник-наладчик Никанорыч видит в доверенной ему загрузочной цеховой машине поистине живое существо, по сути — свою сестру родную, недаром и зовет её Никаноровной.

Здорово, Никаноровна! Как дела? Плохие? Это что же такое? Ты как будто пьяная в грязи валялась! Нехорошо, всего неделя прошла, как тебя куколкой обрядили, а теперь лица не видать.

Невольню вспоминается машинист Мальцев из рассказа Платонова «В прекрасном и яростном мире» или его коллега Петр Савельич, герой рассказа «Жена машиниста», — вот так же, на грани не многим понятного «фанатизма», ушедшие с головой в свои паровозы...

А уж описание цеховой плавки и Алёшкина с друзьями-сталеварами... Тут начнёшь цитировать и весь рассказ приведёшь. Ну, попробую вовремя остановиться...

...Печь пятая полыхает жаром. Человек восемь потных рабочих с лопатами в руках извиваются у раскалённой пасти. Они хватают рычащими совками известняковый камень, магнезитовый песок и посылают в печь, подсказывая к завалочному окну так близко, что кажется — пламя уже ухватывает их. Лица напряжены, к козырькам фуражек прицеплены синие очки. Люди дерутся с пламенем печи. Иногда я слышу крик, свист, и тогда окошко закрывается, и тотчас же открывается новая пасть...

Неожиданно появилось знакомое лицо.

— Алёшкин!

Передо мной маленькая, как дубовый чурбачок, фигура Алёшкина. Он как будто только что вылез из воды, рубашка прилипла к телу, а там, где она ещё сухая, видны соляные пятна.

Это, конечно, ещё тридцать третий год. В тридцать шестом лучшего сталевара Советской России и мирового рекордсмена общепечатно называть «маленьким» да к тому ж «дубовым чурбачком» никто бы уже не позволил. А тут Алёшкин ещё простой смертный. И друг-писатель под статью ему...

Но — вернусь к подростку Тарасу. Уж и не знаю, чем он, перевоспитанный, так не угодил тогда некоему Фейгину, опубликовавшему в местной газете зимой тридцать седьмого рецензию под названием-доносом «Вредная повесть». Впрочем, подобные фейгины, почуввав тогда опасность и спасая собственные шкуры (что рецензенту удалось и он, уже в шестидесятых-семидесятых, благополучно доживал свои деньки, литераторствуя в Грузии), объявили тогда «вредной» всю писательскую организацию, наступали о «контрреволюционном заговоре среди писателей и литературных работников Сталинграда». Как следствие — в Гулаг ушли Григорий Смольяков, Михаил Дорошин. Это только те, чьи имена я знаю. Смольяков погиб в том же году... А Михаилу Федоровичу Дорошину — одному из первых среди советских поэтов воспевшему в большой поэме несчастного мальчишку Павлика Морозова, которого в либеральные времена взялись вновь убивать в своих реваншистских писаниях жёлтоязычные некрофилы, и даже некоторые, до времени гуманные, литераторы, — достались почти двадцать лет соловецкого лагеря, сибирских поселений и подневольных строек...

...Безработным Матушкин стал в самый неподходящий житейский момент. В тридцать пятом у них с женой родилась первая дочка — смуглая, в отца Нины, терпеливая крепышка, которую в честь героини «Овода»

красиво назвали Джеммой... После трудных родов (пятикилограммовый младенец!) или по ещё какой причине у Нины стал падать слух. Дальше больше, и она впоследствии уже не смогла закончить учительский институт. О слуховых аппаратах тогда простые люди и не ведали... Великий Циолковский, и тот к уху трубу, навроде грамофонной, приставлял. В общем, осталась вскоре без постоянной работы и Нина.

Теоретически в Сталинграде работы было достаточно, но, как и положено, работодатели интересовались причиной последнего увольнения. А когда узнавали, то глядели на писателя, как на чуждо-чумного, боясь как бы самим не измазаться об его «вредность». Матушкин был в отчаянии, особенно когда его не взяли на родном заводе на несколько дней рыть какую-то траншею. Это недавнего ответственного секретаря краевого журнала!.. Ещё в конце тридцать пятого он взялся на общественных началах вести литкружок в клубе СТЗ, куда к нему ходили старшеклассники, а потом рабочие и вечерние студенты учительского института Михаил Луконин и Коля Турочкин (Отрада). Через год дирекция клуба пригласила писателя в штат «по совместительству», подрабатывал он до апреля тридцать седьмого. Сохранилась расчётная книжка, листки за первый квартал, где проставлена сумма месячной зарплаты в 350 рублей. Но и этой небольшой суммы он лишился как неблагонадёжный.

А тут и новая беда... Пришла из Камышина весть, что на севере по политическому делу арестовали старшего брата, уехавшего в Архангельск ещё в конце двадцатых, имевшего весьма востребованную тогда профессию радиотелеграфиста. И только в пятидесятых годах выяснилось, что «пришили» Александру Матушкину связь с иностранными специалистами, шпионаж и поставили к стенке... (В марте пятьдесят шестого в осунувшийся дом возле камышинского вокзала, где доживала свой давно уж вдовий век Евдокия Степановна, пришло письмо в казённом конверте за подписью председателя Архангельского облсуда Н. Романова о запоздлой отмене постановления тройки при Управлении НКВД по Северной области от 7 августа 1937 года и прекращении дела за отсутствием состава преступления...)

Что ж, и впрямь его беда не стала одна ходить... Положение для Василия осложнялось ещё и тем, что попробуй-ка теперь выйти сухим из соответствующей анкетной строчки о наличии «врагов народа» среди родственников...

...В начале августа того тридцать седьмого, съездив ненадолго в Камышин за продуктами и хоть малыми родительскими деньгами, Нина призналась Василию, что беременна уже три месяца... Нужно было предпринимать что-то кардинальное. А что, кроме отъезда в Камышин или хоть в Дурникино под Балашовом, где он когда-то родился и отроком любил жить у бабушки, где оставались какие-то родичи по матери, — что можно было придумать? Но и это проблематично... В Камышине что, чекистов нет? Иль «потерять» трудовую книжку?..

Нет, всё это бегство не подходило Василию ни в коей мере. Тогда он принимает два решения. Поскольку в местных газетах «дискуссия» о его